

Иероним Ясинский

Урок



Иероним Иеронимович Ясинский

Урок

«У раскрытого окна, выходявшего в огород, где произрастали в изобилии подсолнечники, стоял пожилой человек, с реденькими седыми волосами, и набивал гильзы табаком. Он торопился, руки его тряслись. Наконец, смахнув веничком табачную пыль с сюртука, застёгнутого на все пуговицы, которые лишились уже там и сям, от долговременного употребления, обтягивавшей их материи, он накинул на себя зеленоватое пальто, сильно побелевшее на плечах, надел старомодный кашемировый цилиндр и вышел из дома. Уходя, он заметил, что солнце добралось уже до подоконника. Это означало, что скоро одиннадцать часов. Пожилой человек прибавил шагу...»

Иероним Ясинский

Урок

У раскрытого окна, выходявшего в огород, где произрастали в изобилии подсолнечники, стоял пожилой человек, с реденькими седыми волосами, и набивал гильзы табаком. Он торопился, руки его тряслись. Наконец, смахнув веничком табачную пыль с сюртука, застёгнутого на все пуговицы, которые лишились уже там и сям, от долговременного употребления, обтягивавшей их материи, он накинул на себя зеленоватое пальто, сильно побелевшее на плечах, надел старомодный кашемировый цилиндр и вышел из дома. Уходя, он заметил, что солнце добралось уже до подоконника. Это означало, что скоро одиннадцать часов. Пожилой человек прибавил шагу.

Пётр Аникич – так звали пожилого человека – спешил на урок и боялся опоздать. Урок был чудесный – рубль в час – у генерала Дюкова, в единственном во всём городе аристократическом доме, дорожащем интересами просвещения. Другие обыватели, если иногда и обращались к учителю – подготовить сынишку в училище или прогимназию, то платили мало: норовили тремя рублями в месяц

отделаться.

Город этот заштатный. В нём, в самом центре, шумно действуют водяные мельницы. Тут же пруд, в котором с утра до вечера купаются люди и лошади. На противоположном берегу дымят низенькие кузницы. Вообще город напоминает собою большое село.

Но в нём немало красивых домов, принадлежащих купцам, торгующим местными произведениями, каковы табак и пшеница. А на самом выезде стоит совсем уж щёгольской дом, с резными воротами, с медными сияющими бляхами у зеркальных окон, выкрашенный масляною тёмно-шоколадною краской. Пётр Аникич остановился здесь и робко позвонил.

Дубовая дверь бесшумно повернулась на петлях, и Петра Аникича встретил бойкий бо-сой казачок, в плисовой поддёвке и синих шароварах.

– Марк Патрикиевич дома? – спросил учитель.

– Пишли в сад...

– Позови.

– Зараз...

– Подожди! А генерал дома? – понизив голос, произнёс Пётр Аникич.

Но казачок был уже далеко. Пётр Аникич вошёл в переднюю и сам снял и повесил своё пальто. Смиренной поступью, поглаживая волосы на затылке, направился он в зал.

Тут, несмотря на жаркий день, стояла прохлада; и от всего – от гладкого как лёд паркета, от стульев с высокими спинками, от сверкающей хрустальными подвесками люстры, веяло каким-то холодом, веяло чем-то неприятливым.

Пётр Аникич сел.

«Маленькому» человеку особенно неприятно ожидание в большой красивой комнате, где всё тебе чуждо, и каждая вещь точно смотрит на тебя с пренебрежением. Петру Аникичу десять минут показались часом. Уж не забыли ли, что сегодня урок? Или, пожалуй, взяли другого учителя? В пятьдесят лет трудно соперничать с молодыми людьми, с приезжими студентами, семинаристами и даже с гимназистами. Пётр Аникич соображал это и задумчиво смотрел на свои потёртые пуговицы.

Раздались лёгкие шаги. Сердце учителя тревожно забилось.

Сама генеральша, пожалуй... Вдруг что-нибудь скажет этакое. «Вот мы намерены проститься с вами, дорогой Пётр Аникич, или что-нибудь в этом роде»... – подумал он, почтительно вставая.

Но вошла девушка – дочь генерала от первой жены, приехавшая недавно из института, худенькая и беловолосая, с газетой в руке.

Он низко поклонился. Она сделала реверанс. Лицо у неё было чересчур розовое, скромные глазки.

– Вы, должно быть, сестрица Марка Патрикиевича? – спросил любезно с искательной улыбкой учитель, который ещё в первый раз видел эту девушку.

– Да. Он змея пускает. Сейчас я сама позову его, – сказала она. – Когда татап нет, он всегда балуется, – прибавила она с лёгкой улыбкой и ушла.

Рот Петра Аникича растянулся чуть не до ушей. Жаль, что беседа с девушкой была так непродолжительна. Он смотрел ей вслед, прислушиваясь к шуму её шагов, замиравших

вдали.

«Довольно миленькая, – решил он, наконец, и снова сел. – Гм! Значит – пока прочно, не отказывают». Ему нравилось также, что нет генеральши. Нет её, нет и генерала, потому что генеральша молоденькая, и генерал её одну никуда не пускает. Они всегда и всюду вместе. А их нет, значит урок сойдёт благополучно и никто не помешает своим присутствием.

(Пётр Аникич терпеть не мог, когда родители сидят во время урока в классной и слушают, что говорит учитель).

Он успокоился.

Тишина наступила мёртвая, какая может быть только в захолустьях. По временам билась где-то птичка в клетке, и слышно было, как звонко падают на пол зёрна.

Но стуча ногами как жеребёнок в зал вбежал Марк Патрикиевич, мальчик лет тринадцати, свежий и полный, со смуглой кожей и курчавый, с толстым носом и большими тёмными глазами, взгляд которых, тупой и ликующий, метался бесцельно. На нём была полотняная куртка, воротничок Ю l'enfant был

смят. На лбу каплями проступал пот.

Тяжело дыша, Марк Патрикиевич громко приветствовал учителя, повелительно крикнул в переднюю: «Воды!», и когда подали, выпил два стакана залпом, развалился на стуле и произнёс:

– Ффу! Батенька, вот жара!

Пётр Аникич улыбался дружески.

– Что вы, батенька, намерены сегодня делать? – начал Марк Патрикиевич, болтая ногой. – Урока я не приготовил – объявляю наперёд... Что ж? Будем повторять? Да?

Он сделал гримасу и почесал подбородок.

– Эта алгебра! – начал он. – Ей-Богу, такая трудная штука! Зачем она, право!.. Послушайте, вы познакомились с Пигалицей?! Видали?.. А вот ещё терпеть я не могу Греции... Архонты, синедрионы... Послушайте, неужели тогда голые ходили?.. В плащах? Ну, это всё равно, что в простыне. Ветер подует, и всё видно. Пигалица умерла бы тогда, если б взглянула. Преглупое создание! Всякой козявки боится! Ха-ха-ха! Вчера я на неё лягушкой, а она...

– О ком вы говорите? – спросил учитель.

– Вы не видали разве? О сестре. Боже! Не заметить Пигалицы!!

Марк Патрикиевич уронил назад голову и, раскачивая её направо и налево, широко улыбаясь и жмурясь, повторял ржущим голосом:

– Пигалица! Гге-ге... Пигалица! Это я сам выдумал её так называть! Честное и благородное слово, сам!.. Пигалица!

– Чем же мы, в самом деле, займёмся? – начал Пётр Аникич, делая серьёзное лицо и желая вести себя с тактом. – Вот вы урока не выучили. Это нехорошо, Марк Патрикиевич. Займёмся разве латынью?

Марк Патрикиевич тревожно вытаращил глаза.

– Мерси боку! О!

– Ну, так арифметикой?

– Мерси боку!

– Историей?

– Историей? Хм! Ну, хорошо, историей. Вот я египтян люблю. Расскажите мне ещё об египтянах...

– Нет уж вы мне расскажите! – возразил Пётр Аникич, сухо улыбнувшись. – А я послушаю.

«Главное, тактичность», – подумал он.

– Мерси! – произнёс Марк Патрикиевич капризно и поклонился. – Надо вам знать, батенька, что покойная мама завещала рара не принуждать меня. А то если всему учить сразу – дураком выйдешь... Слышите?

Он посмотрел на учителя сердитыми глазами.

Пётр Аникич нахмурился. Но в душе он почувствовал облегчение. «А Бог с ней, с этой тактичностью!»

– Почитайте хоть в таком случае. Или, впрочем, – прибавил он веселее, – я вам сам...

Марк Патрикиевич расцвёл и ринулся за книгой. Но на пороге остановился.

– Мама... я про новую мама говорю... – крикнул он, – просила, чтоб не заниматься в зале... Вы паркет портите ногами: пыль в дырявых сапогах приносите. Пойдёмте сюда!

– Пойдёмте! – смущённо отвечал учитель, проводя рукой по затылку. – Действительно, пыли на улицах столько... – бормотал он.

Они пришли в узенькую комнатку. На столе блестела изрезанная клеёнка, подоконник был залит чернилами. Огромный бумажный

змея лежал в углу. Из окна виднелся сад, с жёлтыми дорожками, пёстрыми клумбами, беседкой и гипсовыми вазами, сверкавшими на солнце, как снег.

«Эк, великолепиие!» – подумал учитель, почему-то пленившийся вазами. Машинально развернув книгу, подсунутую Марком Патрикиевичем, он принялся читать.

Но глаза его пробежали по страницам безучастно. Он не вникал в смысл того, что читал, потому что был занят совсем другим. Станным образом, эти гипсовые вазы, очевидно, недавно поставленные, – такие они были чистенькие и новенькие, – казались ему каким-то укором его неопрятности, и обидное напоминание о том, что у него сапоги дрянные, и он ими паркет портит, не выходило из его головы. Он чувствовал в мозгу тупую боль, какую чувствуют в бреду больные, когда в них пробуждается неясное сознание, что они бредят. Но мало-помалу Пётр Аникич разобрался в этом, впрочем, несложном хаосе. Ему вдруг показалось, что много лет назад, где-то, в другом городе, он уже видел такой же точно сад, такие же точно вазы, и такой

же Марк Патрикиевич сидел перед ним и болтал ногой, и точно также ему было сделано тогда замечание, что он пыль в дырявых сапогах приносит... Морщинистые щёки его вспыхнули при воспоминании об этом. Вся жизнь его – ряд мелких, со стороны, может быть, незаметных, но глубоко уязвляющих обид! Вот уж тридцать лет оскорбляют его!

Он в волнении отодвинул книгу и стал молча глядеть в сад. Марк Патрикиевич тоже молчал и, продолжая болтать ногой, задумчиво смотрел на змея.

...«Тридцать лет!» – думал Пётр Аникич. Тридцать лет разъезжает он по всему югу России, из одного местечка в другое, из города в город, из деревни в деревню, то учителем, то гувернёром, то дядькой, кем придётся.

Три поколения воспиталось на его глазах. Между его учениками есть уже и важные чиновники, и богатые дельцы, и профессора. А он всё такой же бедняк как и был, и на нём всё такой же сюртук с облезлыми пуговицами, и дырявые сапоги, которыми корят его. Он опустил, забыл многое из того, что знал, и нет у него больше надежд на судьбу, на

счастливым случаем, который вдруг вывезет его, нет веры в себя...

– Послушайте, что ж вы не читаете? – закричал Марк Патрикиевич, отрываясь от размышлений о змее. – Право, только время напрасно теряем.

– Сейчас, сейчас.

Пётр Аникич стал читать опять монотонным голосом. Он силился вспомнить, действительно ли он видел когда-то этот сад и эти вазы. Теперь ему представлялось это неясно. Но зато без всяких усилий с его стороны, невольно вспоминалось другое – вспоминался сад поживописнее этого, с мраморными статуями, с фонтаном. В том саду у Петра Аникича произошло объяснение с красивой барышней. Узнав, что Пётр Аникич любит её, она пожалала плечами, снисходительно улыбнулась – не величаво, не с презрением, а именно снисходительно или с жалостью, и ушла, не произнеся ни слова. На другой день утром ему был прислан с лакеем расчёт и в подарок – дюжина белья. Это водится, или, по крайней мере, так водилось в «хороших» домах, что гувернёру, когда он отходит от места,

делают какой-нибудь полезный «презент» – погребец, или мало-поношенную шубу, или какую-либо серебряную вещь – часы, портсигар. Но в данном случае было что-то особенно обидное в этом «презенте». Самое же ужасное было, что он принял подарок...

Голос его прервался.

– Ну что ж вы стали? – закричал Марк Патрикиевич.

– Что такое?

– Вот ей-Богу! И притом же вы всё об Вавилоне. Да этого я не хочу... Наконец, читать и я сумею. Вы расскажите! О! Хитренький!

Марк Патрикиевич был недоволен. Учитель встрепенулся, вздохнул и захлопнул книжку.

– О чём рассказать? – спросил он, мигая. – Да, об египтянах? Хорошо, об египтянах. И так...

Он начал вяло рассказывать. Он припомнил Смарагдова и обрывки какого-то исторического романа, провёл перед Марком Патрикиевичем вереницу египтян и египтянок, священных быков, крокодилов, кошек, широко разлил мутный Нил и сочинил несколько

имён. Потом он встал, спросил, который час, задал новый урок, в дополнение к старому, и протянул ученику руку.

– Смотрите! – крикнул ученик, ухмыляясь и не замечая его руки. – Вон в саду – Пигалица идёт! Ге-ге-ге! Пигалица! Гей! Эй, ты!

Девушка остановилась, подняла глаза и погрозила ему зонтиком.

– Учитель ушёл?

– Вот он, вот!

Обняв Петра Аникича сзади, он стал толкать его к окну, пыхтя от напряжения.

– Вот он! Любуйся, глупая Пигалица! Молоденький! Хорошенький! Ггэ-ге!

– Дурак, – сказала она, пожав плечами, и, покраснев, пошла дальше.

Пётр Аникич сердито вырвался.

– Что за шутки? – строго произнёс он, чувствуя, как опять горят его щёки. – Эк... – он хотел сказать: «болван!», хотел даже схватить балбеса за ухо. Но вдруг улыбнулся тупой улыбкой, которая ему самому была противна, и произнёс. – Эк какой вы силач!!

На улице он подумал: «Платили бы только»...

Солнце жгло немилосердно. Белая раскалённая пыль ела глаза. Пётр Аникич направился к плотине, под тень старых верб. Тут он стоял некоторое время, вытирая с лица пот. Глядя на прохладные брызги воды, разбивающейся о перекладыны мельничного колеса, он выкуривал папиросу за папиросой. Пришла баба и стала стирать бельё. Пётр Аникич смотрел на неё, и в голове его мелькнуло, что хорошо было бы жениться. Он ещё не очень стар – всего пятьдесят лет. Поехать куда-нибудь в глушь, в качестве домашнего наставника к детям какой-нибудь этакой сорокалетней вдовы, да и жениться. То-то бы зажилося спокойно на старости лет! Свой угол, своя миска щей, своя чарка водки!

С этими мыслями он пошёл дальше. Мысли эти стали довольно часто являться у него. Но хотя в них не было ничего поэтического, и мало они походили на те розовые мечты, которые посещали его в молодости, однако, и они представлялись ему несбыточными. За ними у Петра Аникича всегда следовало самое мрачное настроение, которое надо было чем-нибудь разогнать.

Совершенно незаметно для самого себя, Пётр Аникич очутился у трактира. Однако, сначала он колебался, войти или нет. Денег в кармане самая малость. Но скучающий хозяин трактира, весь обросший волосами «кацап», в розовой рубашке, увидел его и закричал:

– А, Пётр Аникич! Давненько, сударь, жаловал! Входи, входи, чего робеть!

Пётр Аникич нахмурился и вошёл.

Когда он поздно вечером вернулся домой, то сильно шатался, но зато пел, был весел...

Пётр Аникич был счастлив, потому что был пьян.

Сентябрь 1881 г.